

Т И Ш И Н А

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Тишина

<https://litres.ru/74166469>

SelfPub; 2026

Аннотация

Из мёртвой звезды на краю системы приходит ровный, невозможный ритм — предупреждение, разобранный одиноким слушателем на пустой северной станции. Двадцать лет назад Илья умолял не кричать в темноту. Его высмеяли. Теперь его старый друг Марк — тот самый, кто запустил в космос человеческое «здравствуйте», — вынужден выйти в эфир и сказать восьми миллиардам: погасите свет. Планета учится молчать: континент за континентом, окно за окном. Но тишина стоит дорого, и не все готовы её платить. Тихая, дисциплинированная катастрофа о цене правоты, о самом громком рте истории и о девочке, всю жизнь светившейся, которая учится гаснуть.

Содержание

Часть первая. Тот, кто слушает	4
Часть вторая. Самый громкий рот	13
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Эдуард Сероусов

Тишина

Часть первая. Тот, кто слушает

1

Руки у него перестали греться к полудню.

Станция «Дальний-4» держала тепло только в аппаратной, да и то потому, что железо грелось само. Жилой отсек Илья отапливал одним рефлектором и правилом не жаловаться. Он сидел за пультом в куртке и пил остывший чай, потому что кипятить дважды значило жечь дизель, а дизель он считал в бочках, бочки привозили по зимнику раз в квартал, и то если привозили.

Приёмник шёл фоном. Он всегда шёл фоном — двадцать лет одна и та же плоская река шума, в которую Илья выучился не всматриваться. Всматриваться — старая болезнь. От неё он лечился дисциплиной: смотреть на числа, не на небо; слушать процедуру, не тишину; фиксировать, а не толковать. Толкование стоило ему всего однажды. Больше он себе такого не позволял.

Потому и едва не пропустил.

Один наушник висел у левого уха — правый он не носил с тех пор, как перестал ждать, что кто-нибудь перезвонит. В

левом стояла ровная взвесь космоса, тот самый ни на что не похожий звук, который непосвящённые называют тишиной, а он знал как гул всего сразу: реликт, солнце, распад в кабелях, собственная кровь. И вот в этой взвеси проступило то, чего в ней быть не могло.

Ритм.

Он поставил чашку, не глядя, и промахнулся мимо края стола; чашка стукнула о пол, чай пролился, он не обернулся. Пальцы сами пошли по клавишам — вывести спектр, развернуть по времени, наложить фильтр. Первое правило: это железо. Приёмник стар, преобразователи текут, ложные пики он ловил сотнями. Он прогнал калибровку. Пик остался. Он отключил тракт и запитал резервный. Пик остался. Он вышел на улицу — на секунду, в минус тридцать, без шапки — проверить, не сел ли на тарелку какой-нибудь спутник, не чиркнул ли самолёт. Небо было пустым и чёрным, и он, по привычке, на него не посмотрел; посмотрел на индикатор наведения. Тарелка стояла, где стояла, — глядела в сторону старой, давно списанной звезды, каталожный огрызок, красный карлик, про который в справочниках писали «неактивен».

Оттуда шёл ритм.

Не из системы, куда столько лет назад ударил «Маяк». Со всем в другую сторону. Ближе. Много ближе.

Он вернулся, сел и заставил себя дышать ровно. Структура держалась. Она не рассыпалась под фильтрами, не гуляла

с температурой, не дублировала сеть в пятьдесят герц. Она была узкая, чистая и повторялась — не как маяк повторяет один слог, а как повторяют, когда очень хотят, чтобы поняли даже дурак и даже машина.

Двадцать лет он твердил в пустые залы одно и то же: не кричите в темноту, темнота услышит. Его называли параноиком. Его перестали печатать, потом перестали приглашать, потом жена собрала сумку, а сын перестал брать трубку, и на этом список закончился, потому что больше отнимать было нечего. Он ушёл сюда, на край карты, слушать ту самую темноту, в которую просил не кричать. Слушать пассивно. Молча. Он думал, что уже всё про неё знает.

Три года он жил один и научился жизни, в которой нет собеседника. Он говорил вслух — с приборами, с чайником, с собственными руками, — потому что голос, которым не пользуешься, ржавеет, а Илье ещё был нужен голос, чтобы однажды сказать «я же говорил», хотя он давно перестал верить, что будет кому. Он вёл журнал наблюдений от руки, карандашом, ровным столбиком, хотя журнал никто не читал и не спрашивал. Он чинил то, что ломалось, из того, что было под рукой, потому что ждать запчастей значило ждать людей, а люди приезжали раз в квартал и говорили с ним осторожно, как говорят с тем, у кого не всё в порядке с головой. Он привык. Он думал, что привык навсегда — к холоду, к молчанию, к тому, что он один и прав, и что одно от другого уже не отличить.

Ритм шёл ровно, терпеливо, и в нём не было ничего от «привета».

— Ну здравствуй, — сказал он вслух, самому себе, чужим сорванным голосом. — Поговорим.

2

Расшифровка — это не озарение. Это ночь, две ночи, черновики, кофе, тупики. Но эту складывали не для него. Эту складывали, чтобы её собрал кто угодно, у кого есть уши и минимум терпения, и потому она поддавалась пугающе быстро — и от того, как быстро, у Ильи холодели уже не только руки.

Начиналось с чисел. Простые вещи, на которых сходится любая физика: два, три, пять, семь — счёт, понятный и амёбе, если у амёбы есть счёт. Потом водород — линия, которую слышит вся Вселенная, единица длины и единица времени, чтобы дальше говорить в общих мерах. Азбука. Тот, кто это слал, не предполагал в собеседнике ничего, кроме способности отличить порядок от беспорядка. Он говорил с младенцем. Он очень хотел, чтобы младенец понял с первого раза, потому что второго не будет.

Илья записывал в тетрадь — бумагой, карандашом, аналогом, потому что не доверял тому, что светится. Столбики, пометки на полях. Он ловил себя на том, что комментирует под нос, как когда-то на семинарах, где его ещё слушали:

— Ты не хвастаешься. Ты не спрашиваешь, кто я. Тебе всё равно, кто я. Значит, ты не знакомиться.

К третьему часу второй ночи азбука кончилась и пошёл смысл.

Он собирался несколько раз — и несколько раз Илья вычёркивал собранное, не веря себе, требуя ошибки. Ошибки не было. Смысл был простой, как всё в этом сигнале, и оттого невыносимый.

Мы живы, потому что молчим.

Он перечитал. Отложил карандаш. Растёр лицо ладонями — ладони пахли горячей пылью и оловом, застарелым запахом паяльника, который он таскал за собой всю жизнь и от которого на подушечке большого пальца остался гладкий блестящий рубец, мозоль-ожог, память о самой первой их с Марком плате, спаянной вдвоём в общаге за одну ночь и одну бутылку. Он потёр этот рубец, как тёр всегда, когда думал, что был прав, а лучше бы не был.

Плата была уродливая — кривая пайка, перемычка на соплях, — но она работала, и в ту ночь двое мальчишек орали от счастья на всю общагу, потому что собрали своими руками штуку, которая ловила небо. Они были нищие, злые до работы и уверены, что весь космос — их. Марк умел говорить, Илья умел считать; вдвоём они были один целый человек, и оба это знали, и оба этим гордились. Двадцать лет Илья не позволял себе про это думать, потому что думать было больно, а больно было потому, что он всё ещё любил того, кто его похоронил, и не знал, куда девать эту любовь. Он тёр рубец и помнил, и от этого рука не грелась совсем.

Мы живы, потому что молчим, — говорила темнота его же словами.

Дальше шло хуже.

Не «мы существуем». Не «мы рады». Не координаты — координат не было вовсе, и это Илья понял раньше смысла. Тот, кто слал, не дал своего адреса. Он предупреждал, и он не был готов заплатить за предупреждение адресом. Он выдавал ровно столько, сколько нужно, чтобы спасти, и ни буквой больше, и в этой скупости было больше правды, чем во всех приветях человечества, вместе взятых.

— Ты боишься, — сказал Илья тарелке, звезде, темноте. — Ты нам помогаешь и всё равно боишься нас. Правильно боишься.

Он снова взялся за карандаш. Рука была не совсем твёрдой.

Потому что следующий блок начинался не с «мы». Он начинался с «оно».

3

Оно не живое и не мёртвое. Оно ждёт.

Илья разбирал это до рассвета, и к рассвету у него сложилась картина, которую он потом будет пытаться уложить в одну фразу для людей, не желающих слушать, и не сумеет, потому что уложить в одну фразу конец нельзя.

В темноте между звёздами дрейфует охотник. Не корабль, не флот, не воля — прибор. Что-то, запущенное давно и терпеливое, как камень; что-то, спящее тысячи лет в холо-

де на краю чужих систем и просыпающееся на один-единственный раздражитель. Не на жизнь. Жизнь ему безразлична — жизнь тиха, жизнь пахнет кислородом и болотом, а этого во Вселенной как грязи. Оно просыпается на другое. На направленный луч. На чужой ровный шум там, где должен быть только природный. На тепло машин. На технику. На того, кто научился, но не научился молчать.

Оно просыпается на «привет».

Илья сидел очень прямо и очень долго, и станция гудела вокруг него своим тонким умирающим гулом, и он думал не словами, а чем-то ниже слов, потому что слова все были уже сказаны — двадцать лет назад, в пустые залы.

Потому что сигнал называл виновника. Прямо, без жалости, с той же младенческой ясностью, что и всё остальное. Он давал частоту, мощность, дату — параметры того единственного искусственного крика, что за последние века вырвался с этой планеты достаточно громко, чтобы его расслышали за краем системы и приняли за начало охоты.

Он давал параметры «Маяка».

Гордость человечества. Триумф, который транслировали в прямом эфире на все экраны разом; несколько лет назад мощнейший, направленный, разумно составленный «здравствуйте», пущенный в перспективную звёздную систему рукой человека, чьё имя Илья запретил себе набирать. Тогда Илья стоял в этом самом эфире, сбоку, лишний, и умолял не жать кнопку, и его увели под локоть, вежливо, как уводят

пьяного с чужой свадьбы.

Крик ушёл. Крик расходился сферой, тонкой, слабеющей, но расходился, и где-то на краю системы, у той самой «мёртвой» звезды, его расслышали двое. Сосед — и услышал, и понял, чем это кончится, и решился предупредить, зная цену. И охотник — услышал раньше, проснулся раньше, и с тех пор, все эти годы, пока Земля хвасталась своим приветом и забывала о нём, медленно, малой долей скорости света, разворачивался и шёл. Не к адресу. У него не было адреса. Он шёл на свет, который всё ещё лился, — на живой, длящийся техно-фон планеты, которая не умолкала ни на секунду.

И вот теперь он был близко. Уже в системе. В световых часах. Последний отрезок пути — недели.

А сосед, сказавший это, в конце своего сообщения сказал ещё одно, короткое, и после этого замолчал, и Илья, разобрав, понял, что молчание теперь будет навсегда:

Мы сказали. Большие мы не скажем ничего. И вы — не говорите.

И темнота у мёртвой звезды сомкнулась. Ритм истончился, сел в шум, растворился. Илья ждал ещё час, два, до полного света в промёрзшем окне, в которое всё так же не смотрел. Сосед ушёл во тьму, из которой на секунду высунулся ради чужих детей. Больше он не отвечал.

Илья снял наушник. Положил на пульт. Тишина в аппаратной стала оглушительной — в ней теперь было слышно только его собственное сердце, слишком громкое, неприлич-

но громкое, кричащее на весь пустой холодный дом.

Он был прав. Двадцать лет он был прав, и вот пришло подтверждение, и в нём не было ни капли торжества — только счёт, который приходит один и весь сразу.

Он посмотрел на терминал связи. Там, в самом низу списка контактов, которым он не звонил, стояло имя — под ним ещё одно, набранное когда-то и оставленное навсегда, имя сына, по которому он ударит завтра, если завтра ещё будет. Но сегодня набирать нужно было не сына.

Сегодня набирать нужно было того, кто его уничтожил. Того, с кем он паял первую плату за одну ночь и одну бутылку. Того, кто пустил крик.

Илья потёр большим пальцем блестящий рубец. Потом протянул руку — руки так и не согрелись — и набрал имя, которым клялся не пользоваться никогда.

Часть вторая. Самый громкий рот

4

— ...и вот что я вам скажу, — говорил Марк, и восемь сотен лиц в зале держали дыхание, и ещё несколько миллионов держали его по ту сторону камер. — Молчать умеет любой камень. Кричать «здравствуй» в темноту, не зная, ответят ли, — умеет только тот, у кого есть надежда. Это самое человеческое, что мы делаем. Мы не в пустоту говорим. Мы говорим «здравствуйте».

Зал встал. Марк дал волне подняться и опасть — он умел это так же точно, как настраивают контур: чуть раньше отпустишь, недоберёшь; чуть позже, переберёшь. Свет софита лежал на нём тепло и ровно, знакомо, как ладонь. За годы он привык к софиту, как другие привыкают к солнцу; он опознавал себя по тому, что освещён.

Дома, за поздним ужином, дочь смотрела ту же трансляцию с планшета и не хлопала.

— «Самое человеческое, что мы делаем», — процитировала Аня, когда он вошёл, ещё в галстук, ещё разогретый залом. Ей было четырнадцать, и она умела вкладывать в цитату ровно столько, чтобы это не было грубостью и всё-таки было. — Ты это на прошлой неделе тоже говорил. И в позапрошлом году.

— Работает же. — Он поцеловал её в макушку и сел на-

против, стянув галстук. У ключицы у неё, под кожей, ровно тлел мягкий огонёк — индикатор импланта, того самого устройства, что держало её сердце в графике, а её саму — на связи; крохотная звезда, зашитая в дочь, всю её жизнь передающая куда-то в сеть ровный поток о том, как она дышит и спит. Он давно перестал его замечать. Огонёк был частью её, как родинка. — И потом, это правда.

— Это красиво, — сказала Аня. — Это не одно и то же.

Он собирался ответить что-то лёгкое, отеческое, победительное — у него было заготовлено, у него всегда было заготовлено, — но тут завибрировал терминал, и на нём встало имя, которого он не видел столько лет, что успел поверить, будто больше не увидит никогда.

Он смотрел на имя дольше, чем нужно. Аня заметила — она всё замечала.

— Пап?

— Старый знакомый, — сказал Марк, и голос у него сел на полтона, и он сам это услышал. — Ешь. Я выйду.

5

Он вышел на балкон, где город лежал внизу сплошным светящимся ковром — миллионы окон, ленты машин, зарево, в котором не было ни одного тёмного пятна, ровное гудящее сияние вечно бодрствующего мира, — и принял вызов, и сказал ровно, как говорят с прессой:

— Илья.

— Не клади трубку, — сказал голос. Сухой, сорванный,

старый — но это был он, и от одного звука у Марка что-то стянуло под рёбрами, потому что этот голос он в последний раз слышал, когда его уводили под локоть с его же триумфа, и голос кричал ему в спину слова, которые Марк с тех пор старательно не вспоминал.

— Я не кладу.

— Ты сядь.

— Я стою. Илья, послушай... — Он потёр переносицу. За годы он много раз проигрывал этот разговор — в машине, перед сном, — и во всех вариантах говорил первым и говорил правильно. Сейчас все варианты забылись. — Я слышал, ты... уехал. На север. Мне жаль, что так вышло. С тобой. Со всем.

— Тебе не жаль. Ты меня похоронил, чтобы не мешал. Это нормально, я не за этим. — Пауза; в трубке было слышно тонкий фоновый гул, какой бывает на плохо запитанном железе. — Марк. Пришёл сигнал.

Вот оно. Что-то в Марке опустилось и встало на место — почти облегчение. Значит, всё-таки болезнь. Значит, не он один заметил, как погас этот блестящий, невыносимый человек.

— Илья.

— Не из той системы, куда мы били. Ближе. От карлика, который в каталоге стоит мёртвым. Структурированный. Я его разобрал.

— Илья, — мягко, как говорят с больным, как говорят с

горем, а горе он в этом голосе слышал, настоящее, и оттого говорил ещё мягче. — Ты один там. Давно. Это бывает. Приёмник течёт, ночи длинные, и начинаешь...

— Слышать голоса, — закончил за него Илья, без обиды, устало. — Да. Я знаю, как это звучит. Я двадцать лет знаю, как это звучит со стороны, ты мне можешь не объяснять. — И вдруг, ровно, без нажима, он назвал число. Частоту. Потом мощность. Потом дату.

Марк замолчал.

Потому что это были параметры «Маяка». Не круглые, публичные, из пресс-релиза, — а точные, служебные, до третьего знака, те, что знали от силы человек десять в мире и которые Илья знать не мог, потому что к тому времени его уже вычеркнули отовсюду. Их знал тот, кто строил передатчик своими руками. Их знал соавтор.

— Откуда у тебя цифры, — сказал Марк, и это уже не был голос для прессы.

— Мне их дал сигнал, — сказал Илья. — Целиком. Он назвал наш крик по имени. Он объяснил, кто на него идёт. И он попросил замолчать. — Гул в трубке; далёкий, холодный, терпеливый. — Марк. Мы кого-то разбудили. И оно уже близко.

На балконе было тепло, город сиял, снизу тянуло музыкой из какого-то бара, и всё это вдруг стало казаться слишком ярким, оскорбительно ярким, — как свет в комнате, куда внесли что-то, чего при свете не говорят.

Марк потёр большим пальцем подушечку — старый рубец от старой пайки. Он и не помнил, что делает так, когда боится. Илья по ту сторону, наверное, делал сейчас то же самое; у него был такой же.

— Пришли мне запись, — сказал Марк. — Всё. Сырьё, не расшифровку. Сейчас.

— Уже отправил, — сказал Илья. — Пять минут назад. Я знал, что ты попросишь.

6

К утру запись слушал не только Марк.

Он поднял тех, кого мог поднять, — не потому, что поверил, а потому, что не смог не поднять; потому что цифры сошлись, а когда цифры сходятся, надежда, что это болезнь друга, становится непозволительной роскошью. Три независимые станции на трёх континентах развернули антенны к мёртвому карлику. К полудню две из них подтвердили: сигнал есть, структура есть, источник там, где сказал Илья. К вечеру подтвердила третья. Расшифровка держалась — её собирали заново, с нуля, разные люди, не сговариваясь, и складывалось одно и то же, потому что складывать иначе было нельзя: сигнал не оставлял свободы толкования. В этом и был весь его страшный замысел.

Марк не спал сутки. Он сидел в наскоро собранном штабе — стеклянный этаж, стена экранов, кофе в бумаге, — и смотрел, как одна за другой гаснут его опоры. Сначала «это артефакт». Потом «это чья-то мистификация». Потом «до-

пустим, сигнал настоящий, но интерпретация...». Интерпретация держалась. К ночи держалось всё, кроме единственно-го, во что ему хотелось верить: что он тут ни при чём.

Он был при чём. Сигнал называл «Маяк». Его гордость, его триумф, его «здравствуйте» — вот что слышали за краем системы. Вот на что пошёл охотник. Он, Марк, построил самый громкий рот в истории вида и крикнул в темноту, и темнота, оказывается, слушала, и теперь шла на голос.

Всю ночь, слушая в наушниках разобранный Ильёй сигнал, Марк слышал не сигнал. Он слышал голос — тот же сухой, упрямый голос, только моложе, — и видел день, который двадцать лет не позволял себе видеть.

Тогда они были друзьями. Не бывшими — просто друзьями; двое, построивших «Маяк» своими руками, как когда-то паяли первую плату: ночами, на кофе, плечом к плечу, договаривая друг за друга. Это была их общая мечта — крикнуть в небо так, чтобы слышали. В день пуска они стояли рядом, и Марк был счастлив, и думал, что счастлив и Илья.

Илья не был счастлив. Илья был белый.

Он поймал Марка за локоть в последние минуты, за кулисами, под гул набитого зала, и говорил быстро, тихо, страшно — не как параноик, а как человек, который что-то понял слишком поздно и знает, что не успеет объяснить. Тёмный лес. Мы даём координаты. Всякий, кто кричит, выдаёт себя тому, кто молчит и слушает. Не жми. Марк, прошу тебя, не жми — мы не знаем, кто там, а тот, кто там, узнает про нас

всё, стоит нам открыть рот. Отмени. Ещё можно отменить.

А в зале ждали. И камеры ждали. И весь мир ждал, чтобы Марк — обаятельный, уверенный, с хорошим лицом — сказал от имени человечества «здравствуйте». И Марк выбрал зал.

Он до сих пор помнил, как отнял руку. Как сказал что-то ровное и доброе — «ты устал», кажется, или «мы это уже сто раз обсуждали», — тем самым голосом, которым потом будет успокаивать миллиарды. Как охрана мягко, вежливо повела Илью к выходу, а тот не вырывался — только обернулся один раз, и в лице у него не было злости. Было горе. Горе человека, который смотрит, как друг делает необратимое, и уже ничем не может помочь.

Марк тогда не стал смотреть на это лицо. Он отвернулся к пульту, к кнопке, к свету софитов, и нажал, и зал встал, и он поклонился. Это был последний раз, когда они виделись. Он выиграл спор перед всем миром — и даже не заметил, что потерял единственного человека, который любил его достаточно, чтобы испортить ему триумф.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.